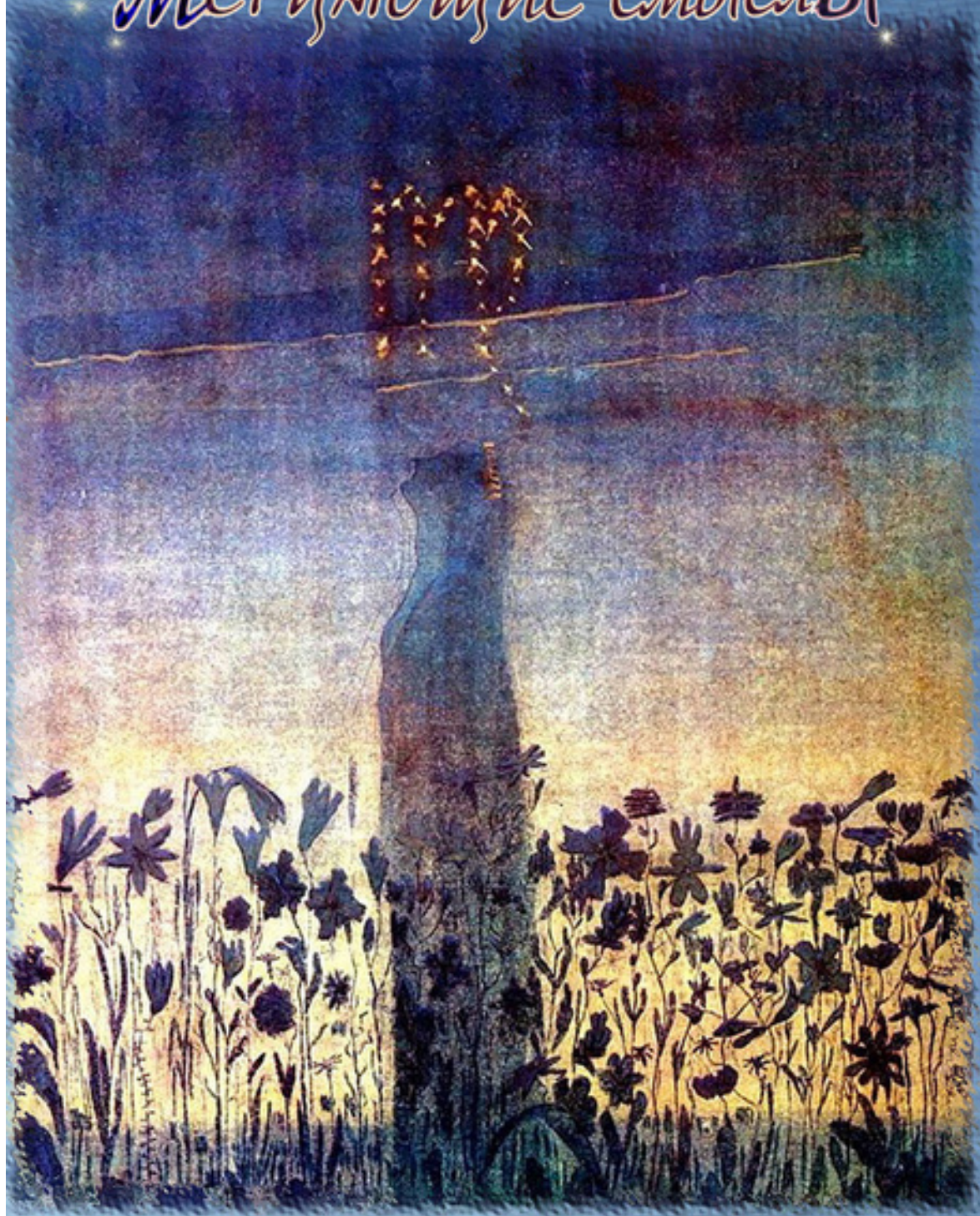


Юрий Денисов
МЕРЦАЮЩИЕ СМЫСЛЫ



Юрий Денисов

Мерцающие смыслы

«Э.РА»

2013

Денисов Ю. М.

Мерцающие смыслы / Ю. М. Денисов — «Э.РА», 2013

Юрий Михайлович Денисов – поэт, эссеист и прозаик, автор многожанровой книги «Утерянные ключи» (1998 г). Член союза писателей Москвы с 1994 г. В его переводах уже не одно издание выдержали ранее неизвестный роман Дюма-отца «Ашборнский пастор» и философское исследование А. Камю «Бунтующий человек» (в соавторстве с Юрием Стефановым). Переводы Юрия Денисова из французской классической поэзии (в том числе стихи Шарля Бодлера, Артюра Рембо и Эмиля Верхарна) опубликованы более чем в пяти десятках книг. Недавно вышла в свет своего рода малая антология французской лирики под названием «Капли французских вин». В 2011 году Юрий Денисов стал первым лауреатом премии «Живая литература» в номинации «Перевод поэзии». Книга его малоформатной прозы «Мерцающие смыслы» находится явно за пределами повествовательно-романного русла литературы. Если в этой книге и встречаются приключения, то это многосложные перипетии человеческой души на трудной дороге жизни. Такая необычная проза рассчитана на чтение небольшими дозами, неспешное и вдумчивое, которое, возможно, помогло бы читателю найти в ней пищу для сердца и ума.

© Денисов Ю. М., 2013

© Э.РА, 2013

Содержание

Предисловие	5
I. Чистая экзистенция	8
Ворскла	8
Вопрошатель	11
Очевидец атомного взрыва	12
Эпизодец	14
Вам плохо?	15
Затянувшаяся зрелость	16
Последний вокзальчик	17
Стариковский визит	18
Памяти дедушки	19
Магнетизм земли	21
Прибрежные впечатления	22
Звонок перед вечной разлукой	24
Дворовый кот	28
Чистая экзистенция	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Ю. М. Денисов

Мерцающие смыслы

Предисловие

О. Шведова

В «Нобелевской лекции» Иосифа Бродского есть такая фраза: «Роман или стихотворение – не монолог, но разговор писателя с читателем – разговор, повторяю, крайне частный, исключаящий всех остальных...». Но, мне думается, далеко не каждое литературное произведение даёт повод сделать подобный вывод.

Книга Ю. Денисова состоит из трёх частей: «Чистая экзистенция», «Лабиринты Эроса» и «Мерцающие смыслы» (название последней части послужило заглавием для всего издания). Этот сборник рассказов и литературных миниатюр – диалог автора с читателем, но такой искренний, доверительно-исповедальный и настолько затрагивающий самые потаённые и интимные переживания автора, что может быть сравним и с внутренним монологом. И все же рассказчик, несомненно, обращается к своему неведомому слушателю-читателю, который «услышит» его голос, возможно, узнает самого себя в том или ином персонаже, «отзовётся» сердцем на боль и радость, так незаметно сменяющие одна другую, и в итоге – задумается о превратностях пути человеческой души в этом мире.

Не только глубоко личные привязанности, но иногда и встречи с вовсе чужими людьми навсегда оседают на дне памяти, оставаясь там дорогим и бесценным или, напротив, тяжёлым и неприятным грузом. Книгу Юрия Денисова можно по праву назвать автобиографической: и в рассказах и в художественных миниатюрах читатель сразу почувствует, что с ним делятся выстраданными мыслями, воспоминаниями и откровениями. Даже когда речь идет о малознакомых, невзначай встреченных на улице, как, например, в рассказе «Отец и сын», трудно не уловить личностный подтекст. Именно тема родственной привязанности и любви между разными поколениями в семье – одна из самых ярких и убедительных в этой книге.

Называя первую часть «Чистая экзистенция», Ю. Денисов словно «ориентирует» своего читателя, невольно убеждая в каждом рассказе, что, на первый взгляд, малозначащие, бытийственные эпизоды и коллизии неизбежно ложатся в основу всего нашего земного существования. Напротив, в «Лабиринтах Эроса» сюжетная канва приобретает важное значение. В этой части книги читатель столкнётся с иным постижением реальности, обусловленным яркими, эмоциональными «взлётами». Иногда они длятся мгновения (как в «Прощальном звонке»), а порой вырываются из повседневности на месяцы и годы («В промёрзлой будке» и «... Не знаю что»). Та же беспредельная обнажённость души, та же доверительная интонация окрашивает эти небольшие рассказы, вызывая сопереживание тем персонажам, за которыми угадывается автор. И ещё один удивительный вывод я сделала, прочитав этот цикл: как не предсказуемы наши эмоции и чувства, как многое в нашем восприятии может изменить время (пусть даже на считанные часы или минуты), превращая события жизни из чего-то несущественного для нас в драгоценное и незабываемое («Снимок из пятидесятых»). В рассказах Ю. Денисова *время*, словно через сито, просеивает всё наносное, оставляя памятное. Уже в этой части книги, посвящённой любовным и эротическим темам, «прорастает» через реалистическое восприятие иное бытие. Но не как нечто, противостоящее жизни, а как что-то абсолютно необъяснимое, фантазмагоричное и в то же время зримо явленное. Подобные «вторжения» в реальность ставят в тупик и самого автора. Так в новелле «Упущенный взгляд» происходит художественное чудо:

происходящее наяву «срашивается» с явлением, неподдающимся рациональному взгляду на вещи. И это бесшовное соединение несоединимого обращает нас, читателей, к названию всего сборника «Мерцающие смыслы». Понимание, с точки зрения логики, того или иного события представляется туманно-призрачным, и мы вместе с писателем можем лишь «угадывать» его предназначение.

А подлинное «мерцание» смыслов-значений проявится в сновидческих литературных миниатюрах третьей части книги. Стилистика и эстетика этих коротких зарисовок, снов-призраков весьма отличимы от ясно выраженных «смыслов» «Чистой экзистенции». Неудивительно! Мы вторгаемся в совсем иную область нашего сознания: в мир снов, где контроль разума, образования и опыта ничего не значат. И автор смело и решительно стремится уловить сюжеты и фантомы собственного подсознания. А оно беспощадно – незаметные в обычном бодрствовании страхи, страдания, загнанные куда-то вглубь души и дорогие, покинувшие поюсторонний мир родные – завладевает и властвует человеком во сне. Проснувшись, он всё ещё находится под острым впечатлением пережитого и поверяет нам свои раздумья, пытаясь осознать то вспыхивающие, то вновь затухающие «смыслы» того, что таится в глубинах человеческого «я» Юрия Денисова.

От автора

Собранная под этим переплетом проза была написана в разные годы, начиная с 1970-х по 2012 г. включительно. Иногда я возвращался к уже сочиненному через десять, а то и тридцать лет с тем, чтобы основательно его переделать. Все свои собственные работы, да и многие переводы я писал и пишу только по внутреннему побуждению и в очень небольших объёмах. Однако, что значит, небольшой объём? В моем случае это и короткий рассказ в 5 или 10 страниц, и миниатюры, порой в несколько строк. В основу моей прозы легли житейские наблюдения, мой личный опыт и мои сновидения. Писал я как от первого, так и от третьего лица. Наверное, по причине такого разнообразия сначала мне представлялось затруднительным упорядочить мое литературное «хозяйство».

Но когда я перечитал мою малоформатную прозу, меня осенило: как школьников собирают в кружки по интересам, так и мои сочинения можно распределить по трём волнующим меня и, надеюсь, не только меня, темам – это бытие и его утрата, это дисгармонии эротической любви и, наконец, странные преломления дневной жизни в ночных сновидениях.

Теперь немного подробнее о трёх разделах книги.

В первом под названием «Чистая экзистенция» нет внешней интриги и сюжеты предельно просты. Ведь «бытие бессобытийно», как гениально заметила Марина Цветаева. В этом разделе речь идет об ощущении и душевном состоянии, которые, по моим наблюдениям, дано испытать не очень-то многим людям, да и то в редкие минуты, в особых ситуациях, все реже встречающихся в современной действительности. Речь идет об ощущении бытия, способном пробудить в человеке в одном случае эмоцию, близкую к райскому покою, а в другом случае – ужас абсолютной пустоты. В этом разделе значительное место занимает тема смерти. В наше время, как правило, размышляют о смерти только те, кого насильственно приближает к ней какая-нибудь жуткая болезнь. Хочу подчеркнуть: для меня принципиально важно назвать смерть – смертью, а не широко распространенным среди интеллигенции успокоительно бесцветным эвфемизмом «уход». Для меня тема смерти неотделима от темы родственной любви к дорогим людям, с которыми Костлявая разлучает нас навсегда. Такая любовь бывает не менее глубокой и сильной, чем любовь половая.

Название второго раздела «Лабиринты Эроса» говорит само за себя. Это лабиринты мучительных противоречий в любовных отношениях мужчин и женщин.

Последний раздел книги составляют миниатюры в прозе. Для меня – это эссенция содержания, его кристалл, а в кристалле содержимое существует только в нераздельной слиянности с его формой. В своей краткости миниатюра подобна вспышке, и было бы ошибочным ожидать от неё развёрнутой фабулы и сложной интриги. Для этого раздела я отобрал и преобразил в миниатюры лишь те из моих сновидений, в которых брезжил некий смысл или смыслы. Здесь уместно вспомнить название одной из пьес испанского драматурга Кальдерона «Жизнь есть сон». Однако справедливо и обратное утверждение: «Сон есть жизнь». И мои сновидческие миниатюры представляют собой как бы двойное преломление многоликой реальности. Хочу надеяться, что всё – биографическое и личное, которое можно встретить в этой книге, претворено в нечто художественное, которое может оказаться близким и значимым не только для автора.

І. Чистая экзистенция

Ворскла

Для меня и лето – не лето, если я не поплаваю в скромной реке Ворскле, над которой веками дремлет моя старосветская Полтава.

Впервые я с разбегу влетел в прохладную воду этой речки – стоп! – голова идёт кругом от невообразимого числа лет, которое я сейчас назову! – так вот, впервые я с разбегу влетел в её воду шестьдесят пять лет тому назад. Подумать только – шесть с половиной десятков лет!

Это был июнь 1944 года, когда ещё испепеляла и коверкала миллионы жизней чудовищная война, хоть и неуклонно отодвигаясь от нас всё дальше на Запад.

Весь городской центр являл собою сплошные руины – «развалки», как называли их тогда. Боже мой, двухэтажной уютной красоты центра как ни бывало! Куда ни глянь – обломанные стены среди груд битого кирпича, да несколько выгоревших изнутри больших зданий. На их пустые оконные проёмы смотреть было больно, как на бельма слепцов.

А вот мирный облик Ворсклы война не исказила. Весело поблёскивала под солнцем её зеленоватая, неспешно уплывающая к Днепру вода.

И к её спокойной беззаботности торопились мы каждый день наших летних каникул.

Мы – это я, мой дворовый дружок, простодушный Серёжа Шаронов, да ещё один соседский пацанчик Витя Турбило, ещё моложе нас, восьмилетних.

Только по принуждению обыденного разума я лишь условно верю – да и верю ли вообще? – что седой толстяк, постоянно угнетённый всякими хворями, и лёгкий худенький мальчик – это один и тот же я.

В простецких застиранных трусах, в заношенных майках, а если очень жарко, то и без маек, проходили мы втроём через разрушенный центр, где были сожжены все деревья, к уцелевшей окраинной улице под названием Панянка с её белыми мещанскими домишками. Густо укрытая ветвями клёнов и лип, её булыжная мостовая настолько круто спускается под гору к реке, что мы невольно ускоряли шаг, уже предвкушая, как взбодрит нас речная вода.

Протекает Ворскла между городом и его Южным вокзалом.

На правом, городском берегу реки мы облюбовали песчаный пятачок, привлекавший нашу компанию своим необжитым безлюдьем. Здесь, вокруг серого песка, землю застилала густокудрявая травка и торчали несколько малорослых осинок. Здесь мы принадлежали только самим себе на нашем собственном пляжике. Вот где раздолье! Плавай, сколько хочешь, бутылхайся, кувыркайся, дёргай приятеля за ноги под водой, выбегай на песок, грейся – и снова бросайся в воду!

Отсюда мы с любопытством наблюдали за противоположным берегом, где находится городской пляж, несравнимо более просторный и многолюдный, пляж, где воздух переполнен детскими визгами, окриками мамаш и влажным плеском.

Ниже по течению в какой-нибудь сотне метров от моста, тогда грубо сколоченного из брёвен и толстых досок, есть второй «дикий» пляж, отгороженный от вокзала огромными раскидистыми тополями.

В мои школьные и студенческие годы родители вместе со мной приезжали сюда предаваться воскресному отдыху.

Папа, в широких тёмных брюках и лёгкой светлой сорочке, прикрыв голову соломенной шляпой, никогда не ленился нести целую кошелёку помидоров, яблок и варёных яиц. Плавал он редко и не очень-то охотно.

Мама в чёрном купальнике, поддерживаемая снизу сильной папиной рукой, беспорядочно шлёпала по воде руками и ногами, воображая, что движется вперёд и тем самым хорошенько потешая и папу, и меня.

Жара в те годы была мне нипочём. Я делал короткие, но частые заплывы. Освежённому, взбодрённому, как же хорошо было мне тогда!

И через годы, уже будучи женатым, я всё равно возвращался и возвращался к Ворскле.

Хотя мне это помнится как-то блёкло и неуверенно, старые снимки подтверждают, что я и вправду валялся на городском пляже с первой моей женой, а рядом с нами возился в песке и что-то лепетал наш сынулька.

Разные сцены из далёкого прошлого предстают воображению как бледное марево.

Ещё в начале таких уже давних семидесятых не стало папы. Больше четверти века тому назад нестерпимо юным погиб мой сын. Давно нет на свете моей мамочки, только ради меня сопротивлявшейся смертному отдыху.

О собственном детском прошлом думаю теперь с вопросительным недоумением: а был ли мальчик?

Каждый август я до сих пор еду почти тысячу километров из Москвы в Полтаву, чтобы с этим же неотвязным беззвучным вопросом вновь и вновь появляться на пляже, ближайшем к мосту, теперь железобетонному. Кто ещё, кроме меня, помнит его послевоенным, деревянным?! Кто ещё, кроме меня, помнит Южный вокзал в предпобедном году, когда взгляд, поднятый вверх, встречал не потолок, а ночное звёздное небо?!

Густые камыши, примыкающие к мосту, за десятилетия так выросли, что стали похожи на бамбуковую рощицу.

И глазам первоклассника Юры Денисова, и глазам пенсионера Юрия Михайловича Денисова неизменно представал и предстаёт высящийся на своём отдельном холме Крестовоздвиженский монастырь, чьи купола с недавних пор жарко блещут на солнце новодельной позолотой.

Неужели во мне, отяжелевшем и поседевшем, по-прежнему живёт душа послевоенного, удивлённого нашим миром, мальчишки?! Уж не пытаюсь ли я убедить себя в этом, созерцая то же самое, что видел в детстве он? Или же я и он – это два разных краткосрочных сознания, которые роднит дорогая им обоим долговечная Ворскла? Или произошло перетекание юной души в душу старую?

Не знаю, не знаю...

Но как бы там ни было, каждый новый август я вижу и узнаю то утешительно неизменное, что в свои школьные годы видел и он, тот мальчишка – Ворсклу, пляж, раскидистые тополя, стену камышей, а на востоке – прекрасный мираж Крестовоздвиженского монастыря.

На песке так же, как во все протекшие годы, лежат крупнотельные тётки, проходят узкобёдрые полудевочки-полудевушки, брызгаются в воде мальчишки, гулко отбивают волейбольный мяч мускулистые мужчины.

Лет восемь назад я ещё встречал хотя бы одного знакомого – моего одноклассника, всегда и навсегда одинокого Колю Малышева. А теперь уже не вижу и его. Вообще не вижу ни единого знакомого лица. И меня никто просто не замечает, словно я – ничейный невидимка.

Как всё это чудно и странно!

По мосту катят троллейбусы, грузовички, легковые автомобили. Катят, словно большие игрушки, какие-то невсамделишные, по каким-то несерьёзным делам.

А всерьёз и вправду нечто иное – предающиеся безделью люди, вечерняя река и быющее прямо в глаза предзакатное солнце.

Я только недавно осознал, что мои ежегодные посещения Ворсклы – это некая потребность, сродни религиозной, а мои медленные погружения в Ворсклу – это мой обряд причащения к её родной стихии, мой обряд причащения к безвозвратно утекшему детству.

С силой выбрасывая руки вперед, я плыву наперерез волнам, а потом переворачиваюсь на спину и, едва пошевеливая ладонями, безвольно отдаюсь плавному струению реки. Умиротворённый, я вижу над собой только безоблачное вечернее небо и чувствую, как «душа моя плывёт с её печалью мимо».

Вопрошатель

Когда я, обременённый двумя тяжёлыми сумками, входил в деревянную церковную лавочку, этого человека поблизости ещё не было. А когда я вышел, раздражённый мелкими неудачами и надоевшим грузом, шаровой фонарь неожиданно высветил весьма экзотическую фигуру то ли начинающего бомжа, то ли божьего странника. Среди декабрьской вечерней мути желтело электричество множества торговых павильонов, повсюду сновали озабоченные людишки, а он высился у порога одиноко и неприкаянно, словно одичавший пророк. У ног его стояла необычно большая сумка-тележка с огромной поклажей, а на спине примостился здоровенный, туго набитый рюкзак. Сразу видно: «всё моё ношу с собой».

Лицо этого странного типа заросло жидковатыми чёрными волосами, а такую же шевелюру прикрывала бесформенная шапчонка.

И вот что выглядело непривычно: ни в руках, ни в амуниции незнакомца я не заметил ни пивной бутылки, ни помятой алюминиевой кружки, ни грязного картуза для подавания. Но куда сильнее впечатлило меня другое: стоя под фонарём, весь отягощённый своим имуществом, странник вызывающе громко и грозно выкрикивал в торговое пространство вопрошания, звучащие, как страстные проклятия.

«Ну почему люди не могут жить в мире? Почему везде такая несправедливость?! И такая жестокость! Такая жестокость! Откуда столько ненависти, откуда?!»

Он замолкал и вновь с той же страстью повторял свои выкрики, между тем как покупатели со своим товаром шли себе мимо и даже ухом не вели, словно и не слыша его воплей.

А что же я? Я тут же остановился, поражённый столь диковинным феноменом, и вся моя душа сразу очнулась, услышав собственные, но уже полузабытые вопрошания.

Очень уже усталый и крайне раздражённый, я минуты две молча стоял, глядя на обнищавшего одиночку, расхриставшего перед всеми свою уязвлённую душу.

Тут вышла из лавочки моя жена, и мы по осенней сырости потащились домой.

Но с каждым десятком метров мне становилось как-то не по себе, и чем дальше, тем больше. И всё из-за того, что я, уподобившись всем остальным безликим и безразличным покупателям, даже словом не дал понять возмущённому чудаку – не его одного мучит втайне то же самое.

Метров через двести совесть совсем меня доконала. Я остановил жену, положил все наши покупки на какой-то бетонный блок, оставил её постеречь добро, а сам почти побежал обратно к церковной лавчонке.

И что же? Черноволосого проклинателя там уже не было. Я заметался в разные стороны и наконец с облегчением увидел снова этого странного человека. Он стоял в темноте уже молча, словно раздумывая, куда ему податься. Я поздоровался с ним и сказал: «Вы видите, сколько людей проходят мимо вас? Так вот, вряд ли хоть один из них способен объяснить, откуда в мире взялась такая несправедливость и такая жестокость. И я тоже не знаю, откуда!»

Тут я протянул ему немного денег, и он спокойно взял их. Я пожелал ему продержаться в жизни подольше и ушёл, хоть и с несколько притихшей совестью, но ещё более опечаленный.

Очевидец атомного взрыва

Юрка Ванжула, десятник вентиляции на шахте № 38, выбрался из низкой полости лавы и зашагал по штреку вслед за световым конусом своей «надзорки». Ещё с минуту слышался равномерный грохот угольного комбайна, а затем всё стихло, и за спиной Ванжулы осталась только тьма и тишина.

Десятника утомила долгая крикливая сварка с бригадой, и теперь ему хотелось прикорнуть в каком-нибудь укромном местечке: слава богу, в ночную смену начальство не часто спускается под землю.

У поворота лежало несколько мокрых колод, и Юрка присел на одну из них. Сегодня здесь перед началом смены Холодов, однорукий газомерщик, здорово рассказывал мрачноватые анекдоты об атомной войне.

«Небось, дрыхнет сейчас в лаве на досках», – подумал о Холодове Юрка. Да и его самого клонило в сон. Парень встал с колоды и двинулся дальше, навстречу струе влажного отработанного воздуха. У трансформаторной камеры огляделся: нет ли кого поблизости? Как будто никого.

Юрка вошёл в камеру и закрыл за собой металлические створки. Они громко и неприятно скрипнули. Луч «надзорки» ощупал помещение, не просторнее, чем кухонька в малогабаритной квартире. Почти всю площадь занимали два трансформатора – неуклюжие ящики с чёрными, словно обгорелыми, рёбрами. Юрка забрался в узкий проход между трансформатором и задней стеной камеры, при способил вместо подушки коробку шахтного противогаса, улёгся и выключил «надзорку». Здесь было тепло и сухо. Усыпляюще зудели трансформаторы; одиноко, сонливо краснел глазок электрического реле. Ванжула посвободней вытянулся и с облегчением закрыл глаза. В сознании про ступали и таяли приятно неясные мысли о полученной вчера зарплате, о новом транзисторе. Его можно прихватить с собой на свидание с Ларисой в степи за поселком. Они лежат, утомлённые, закрыв глаза, а приёмник негромко играет. И хочется, чтобы так было долго-долго.

Юрка и не заметил, как остался лежать один в летний день на пологом холме, среди матово серых кустов полыни. Он замедленно вдыхал её вязкий запах. Небо заволочло сплошными тучами, стало душно. «Пойти бы на речку искупаться», – подумал Юрка, но, словно одурманенный полыню, даже не шелохнулся. Что-то тяготило всю его плоть. Не было сил приподнять веки, набухшие непонятными слезами. Что произошло? Откуда этот низкий тягучий гул? А, самолёты, вот оно что! Он видел сквозь со мкнутые веки, что их сотни, тысячи, и они не летят дальше, а висят прямо над его головой. Гул переполнял своей нестерпимой чернотой всё пространство. Юрка попытался вскочить, но не смог даже шевельнуться, словно был мертвецки пьян. И вот под ним с огромным громом раскололась земля, а в небе, как в гигантском вогнутом зеркале, расплылось чудовищное солнце. Сердце в Юркиной груди мягко оборвалось, и он замертво ухнул в бесконечную про пасть...

По его ногам чем-то колотили. Юрка вскочил, весь дрожа. В его полоумные глаза бил свет «надзорки».

– Что, работяга, никак не проснёшься? – произнес чей-то издевательский голос. – Здорово же ты следишь за безопасностью!

– Уже безопасно? – пробормотал Ванжула.

– Очнись, рыжий чёрт! Завтра я с тобой иначе поговорю.

Главный инженер, будь он неладен! Юрка молча поднял коробку противогаса, плотнее обтянулся брезентовой курткой, чтобы унять бивший его озноб, и вышел из ка меры.

Об этом случае узнала чуть ли не вся шахта. Ванжулу часто просили рассказать о нём. И молодой десятник, поотнекивавшись, вспоминал, как принял во сне гудение трансформаторов

за ровный гул самолетной армады, рез кий лязг металлических створок – за атомный взрыв, а яр кий свет инженерской надзорки – за атомную вспышку.

Шахтеры, большие и чёрные, шумно веселились, а на Юркином лице проступала едва заметная улыбка знания.

Эпизодец

Ну, слушай, расскажу тебе этот эпизодец. Мягкая зима. Пятница. Вечер. Я возвращаюсь с работы, иду через дворы, ступая по снегу не спеша, даже с наслаждением: никто от меня ничего не требует и мне ни от кого ничего не нужно.

И тут на меня налетает собачонка – маленькое существо какой-то там японской породы: шерстка такая низенькая и гладенькая, что собачка кажется голой, тем более, что вся она дрожит. Мордочка – игрушечная, а в глазках чёрно мерцает непримиримая злоба.

«Ну-ну, глупышка, бросай», – прошу я благодушно и продолжаю путь. Но нет, не успокаивается, стерва: лает, лает, лает. Останавливаюсь, поворачиваюсь к ней: «Слушай, а, может, хватит? Я же тебе ничего плохого не делаю». Но эта карлица и не думает угомониться: прыгает и лает, не сводя с меня ненавидящих глаз. Я стою уже молча и не без любопытства гляжу на неё. Иронически вспоминаю стихи: «Тут подошла ко мне собака с душой, исполненной добра». У меня-то в эти минуты душа и вправду была исполнена добра.

Краем глаза замечаю тёмную фигуру с поводком в руке – хозяйка не вмешивается. А я всё ещё позой и взглядом пытаюсь образумить собачонку: я, мол, тебе не враг, да и судьба у нас в самом главном общая: рождение, существование, смерть. Да ты, чертовка, ещё счастлива, если не ведаешь о своем неизбежном исчезновении!

Но крошечный уродец аж захлебывается остервенелым лаем. Не потому ли, что поблизости стоит всеильная, по собачьему разумению, хозяйка?

– Ах ты, лакейская натура! Пшла вон!

Круто поворачиваюсь, иду дальше. Внезапная тишина заставляет меня оглянуться. И что ты думаешь? Эта дрянь подкралась и чуть не тяпнула меня за ногу.

Ну, гадина! Ну, гадина! За что она меня так ненавидит? За что?

И тут у меня у самого помрачается в глазах от накатившей духоты ненависти, сердце изнывает от приступа тёмного вожделения, и, кажется, не будет большего сладострастия, чем садануть ботинком эту злобную тварь, да так, чтобы она с жалким взвизгом подлетела в воздух и шмякнулась на землю мокрой тряпкой! Не знаю, как я с собой совладал. Через минуту приступ ослабел, но в горле тёплой жижей долго стояло отвращение к самому себе, к этой собачонке, к её хозяйке, к издевательски устроенной жизни.

Вам плохо?

У дорожки, ведущей к моему дому, привалившись спиной к стволу майского дерева, полулежит пожилой человек. Ладони его покоятся на тёплой земле, поношенный пиджачок расстёгнут, глаза закрыты.

Останавливаюсь и остро всматриваюсь, дышит ли его грудь. Нет, она не дышит, она совершенно недвижна – так же, как и всё небольшое тело.

Господи, уж не труп ли передо мной?!

Громко спрашиваю:

– Вам плохо?

Мой вопрос повисает в страшноватой безответности, и я спрашиваю уже намного громче:

– Вам плохо?

И тут приоткрылись мутноватые голубые глазки, и я услышал сонный, слабый, но внятный голос:

– Нам хорошо.

Затянувшаяся зрелость

Ноябрь. Аллея оголённых почерневших деревьев. Низкие тяжёлые облака. В парке сумрачно и дождливо. Высокий, прямой и крепкий седой мужчина, которому месяц тому назад исполнилось девяносто два года, остановившись, смотрит на эту унылую картину и, обращаясь к своему спутнику, с глубокой грустью признаётся: «Ты знаешь, я чувствую, что скоро уже надвигается старость».

Последний вокзальчик

Закоченелым мартовским вечером шёл я в больницу проведать умирающего. Передо мной темнела бугристая тропинка, а вокруг стыл пустынный разор заброшенной, присыпанной снегом стройки. Из земли торчали железобетонные обломки. Цементомешалки и ещё какие-то железные чудища цепенели в своём промороженном сне. У больничных стен валялись доски, запаршивевшие от сероватой смерзшейся грязи. Окна светились: за стеклами казённо звякали по казённым тарелкам алюминиевые ложки. В этом унылом позвякиванье слышалась непоправимая убогость.

Я вошёл. В раздевалке сгрудились поникшие пальто, безликие и безжизненные. По коридорам вяло слонялись одиночные больничные пижамы. Около десятка таких собралось перед телевизором. Они не сводили глаз с экрана: то было окно в недоступный рай. Мимо меня осторожно прошёл старик, бережно неся стакан горячей воды.

Вся больница привычно томилась в бессрочном ожидании, словно забытый в провинции вокзальчик, где поезда проходят изредка и непредсказуемо.

Мне думалось: «И такая вот бедненькая скука – всего лишь за какой-нибудь час, а, может, и за миг до исчезновения навсегда! И такой убогонький быт – всего лишь за один шаг до непоправимого, непостижимого, нескончаемого небытия!»

Стариковский визит

Один пенсионер собирался навестить своего сослуживца, ещё более старого, чем он сам. Год собирался, три собирался, а на двенадцатый выбрался.

Заходит в комнату и видит: лежит его приятель на высокой постели, под одеялами, на огромной подушке. На приветствие ни ухом не повёл, ни глазом.

– Ослеп и почти совсем оглох, – пояснила невестка хозяина.

«Э, да ты, брат, совсем никудышный, – про себя огорчился гость и осторожно, но неодолимо поразился: «А я-то ещё ничего!»

И стал кричать в заросшее волосом ухо больного:

– Здравствуй, Кузьма Кузьмич! Это я, Никифор Никитович!

– Кто-кто? – обеспокоенно спросил лежащий старик.

– Я, я, Никифор Никитович! Помнишь, экономист?

Как ни бился гость, хозяин так и не понял, кто к нему пришёл и что говорит. Время от времени он дипломатично вставлял «Ну-ну» или «Вот-вот». Гость кричал во всю ивановскую, а хозяин едва-едва выговаривал свои немногие слоги. Ладно, потолковали так, и «ещёниче-гошный» пенсионер, эхая, да побряхтывая, ушёл. И больше не звонил.

А месяца через полтора «никудышный» старичок приказал долго жить. Сей наказ энергичная невестка покойного сообщила телеграммой и Никифору Никитовичу.

И вот вручают невестке её же телеграмму с надписью от руки: «Возвращаем по причине смерти адресата».

Памяти дедушки

Это не минет никого. Тогда в нашей семье на очереди был дедушка. Последние два-три года он становился всё молчаливей, кротче, невесомей.

Поздним октябрьским вечером всех нас переполошил непрерывно долгий телефонный звонок. Звонила из Хорола моя тетушка: «Дед совсем плох. Приезжайте скорей, может, хоть проститься успеете!»

Через два часа мы с отцом уже сидели рядом в автобусе. Ехали молча, тупо глядя в тёмные и мокрые стекла. Как много лет, с дошкольного детства, ездил я в Хорол на лето, и всегда с предвкушением беззаботности. А теперь...

Тогда, в детстве, мы с дедушкой были несколько прохладны друг к другу. Обычно я только со стороны наблюдал, как его фигурка исчезает и появляется за яблонями на огороде, который был одновременно и садом. Старичок, не спеша, с наслаждением обходил свою крохотную усадьбу, то поднимая голову, чтобы осмотреть дерево, то нагибаясь и разглядывая картофельную ботву, словно внимательный доктор. В саду дедушка меня не замечал, а вот когда я глазел на его возню с неисправным примусом, старик отводил взгляд и сердито сопел. Только теперь понимаю, что починка была для него делом интимно-творческим.

В темноте, по осенней грязи добрались мы с отцом до дедовской хаты. В ставне слабо светились щели. Я, сам не зная почему, заглянул в одну и увидел безлюдную комнату с одиноко горевшей лампочкой.

Мы вошли в дом с тем безмолвным благоговением, с каким входят в склеп. Шёпотом поздоровались, и тетя Фрося провела нас туда, где лежал дедушка. Он лежал без сознания. Его маленькое тело едва дышало, а бессмысленные жуткие глаза странно подрагивали, готовые вот-вот закатиться.

Бабушка спала на своей кровати. Лег десять тому назад ревматизм так покорёжил ей руки и ноги, что она и стоять уже не могла. Вскоре бабушка ослепла и больше не поднималась. Сейчас она тяжело постанывала во сне и тихо, но внятно звала: «Федя! Федя!» Будить её мы не стали. Отец сел у дедушкиных ног, я – у изголовья. По лицу старика тенями проходили муки.

Стоя рядом, тетя Фрося зашептала: «С неделю назад что-то он совсем сдал: руки трясутся, кашляет страшно, а курит, курит как!.. Кричу на него: «Дед, бросай, если жить хочешь!» – а он отмалчивается, а сам то и дело хватается за папиросы, и давай дымить...»

Мне это было очень понятно: ну, можно протянуть ещё с полгода, отказывая себе в единственно возможном наслаждении... Но не лучше ли прожить пусть даже лишь месяц, да зато власть? Вместе с ядовитым «беломорным» дымом он наполнял лёгкие воздухом жизни.

Один я не порицал старика за курение. Более того, сам изредка просил у него папироску, летним вечером пристроившись рядом с ним на жарком крыльчке. Мы давно уже полюбили друг друга, дед и его взрослый внук, такие разные, но родные и одинаково смертные. Я радовался мирной нежности, с какой он встречал меня, обнимая и неловко целуя в щеку. Неспешно покуривая вечерами на пороге, мы не произносили ни слова. Дедушка никогда ни в чём меня не наставлял, может, по неумению выразить свою мысль, а может, чувствуя, что никакой опыт всё равно не спасёт от умирания. Поэтому мы курили молча. В нескольких шагах от дома начался склон огромного оврага, заполненного огородами и садами. Днём с порога можно было увидеть там крошечную речушку и высокие старые вербы. Вечерами овраг быстро заливала тьма, и он шелестел невидимой листвой, как живая бездна. На той стороне оврага уютно желтели окна домов и хат. Дедушка неотрывно смотрел на закат. Сначала яркое и высокое плавание облаков тускнело, превращаясь в красноватое марево, а затем – в тускло голубое свечение. Всё, происходившее в закатном небе, отражалось в стариковских глазах, бесцветно-прозрач-

ных и живых, как вода. Откуда-то из-за горизонта доносились чуть слышные зовы поездов, и эти звуки, преображённые далью, были прекрасны.

Очнулся я от слов тети Фроси: «Пошёл вчера на кухню покурить. Минуту посидел, подымил и тут отложил папиросу, схватился за грудь и упал. Я перенесла его на кровать, вызвала скорую. Врач осмотрел деда: «Сколько ему? Семьдесят три? Ну, нам тут уже делать нечего».

Я слушал, не сводя глаз с дедовских рук, лежавших поверх одеяла. Они совсем высохли – лёгкие кости, обтянутые лёгкой сухой кожей. Только пристально вглядевшись, я заметил, что грудь ещё дышала. Нет, вряд ли дедушка дотянет до утра! Горькой была и другая мысль: а вдруг он уже не придёт в сознание, и я не смогу с ним проститься, не смогу сказать, что люблю его и никогда любить не перестану. Я наклонился и стал негромко, настойчиво звать: «Дедушка! Это Юра! Дедушка!» И наступил миг, когда его глаза осмыслились. И тут же закрылись. Дедушка не произнёс ни слова. Но меня он узнал. Руки его начали медленно, медленно подниматься, колеблясь, словно водоросли из невообразимых глубин. Они обняли меня, сомкнулись за моей спиной и нежно, едва ощутимо сжали. Вся напрасность жизни, весь ужас живого существа перед исчезновением, вся любовь и все сострадание неведомых предков к неведомым потомкам прошли сквозь мою плоть. Я положил голову на стариковскую грудь, родную до муки, и сквозь слезы почувствовал, что он перестал дышать, и увидел, как его лицо приобрело выражение свободного покоя.

Уже через полчаса в комнате распорядились какие-то старухи в чёрном.

Теперь я не могу вспомнить, спал или не спал я той ночью. Знаю только, что утром пошёл взглянуть на покойного. Его уже положили в гроб, возникший на столе посреди комнаты. Ставни были закрыты, горело несколько свечей, освещавших лицо, ставшее жёстким и чужим. Неужели это он был молодым гармонистом и заядлым танцором, которому рада была каждая свадьба? Неужели это он сидел рядом со мной на крыльце и глядел на закат?

Не было мочи оставаться на поминки среди похоронного воронья, и под каким-то предлогом я спешно уехал.

Ровно через год мы с отцом вернулись в Хорол навестить дедушкину могилу. Оказалась она на самом краю затянутого туманом деревенского кладбища – небольшой покрытый дёрном холмик тихо дремал в осенней сырости. Что за человек здесь похоронен, знали только мы, да наша родня. А вместе с нами исчезнет и память о дедушке, исчезнет само его имя – Фёдор Михайлович Денисов.

Я и отец, уже почти старик, стояли у дедовской могилы и плакали.

Ничего из дедушкиных вещей я себе не взял. У меня остались его снимки. Я ведь фотографировал дедушку множество раз, пытаюсь передать то ли бессловесную мудрость, то ли несказанную пустоту стариковских глаз. А ещё в день его смерти я нашёл и спрятал ту папироску в мундштуке, которую дедушка не успел докурить.

Магнетизм земли

Более четверти столетия прошло с тех пор, как мы с другом стояли на этом самом месте. Мы оба уже поседе ли, а здесь ничего не изменилось – та же небольшая уще листовая долина, греющая свои склоны под октябрьским солнцем. В глубине её ровно и неуклонно течёт и течёт тёмная речка. Нет в ней ни равнинной лени, ни горной ярости.

То один, то другой охряный листок кривобоко качается в голубом воздухе и, словно подстреленный, болезненно ми рывками снижается к плывучей воде, касается её и вот уже успокоенно и безвольно скользит к Чёрному морю.

Речку зовут по-домашнему – Уша. Над ней уступами возлежат бегемотоподобные глыбы – то ли побуревшие граниты, то ли базальты – дремотно грозные посланцы крупнейшего скалистого массива, уходящего глубокоглубоко, к самому ядру земного шара. Это головокружительные миллионы лет геологической древности. И что для бесформенного преджизненного Архея наши Флора и Фауна? Не более, чем взявшиеся за руки трёхлетние шалуны.

Противоположный берег так высок и обрывист, что редующий лес не решается подойти к его краю. Некогда там буйствовали ночами языческие костры и грубо перекрикивались дружинники княгини Ольги. Здесь была отчизна древлян, земля, породившая деревья, деревни и само понятие древности.

Этот скалистый уголок, уютный и вместе с тем потаённо могучий, существует среди современности, не обращая на неё ни малейшего внимания. Пусть грохочут через железнодорожный мост тяжеленные составы – каменный массив и не дрогнет, а Уша ничуть не ускорит и ничуть не замедлит течения.

Ещё незакосневшие сердца неисповедимо влекутся сюда. Казалось бы, разве не уютней беседовать в домашних стенах? Разве не приятней прогуляться по городскому парку? Но нет! Здесь, как нигде, тихо насыщается душа.

Приплёлся одинокий алкоголик, потарасился на воду и, пошатываясь, ушёл восвояси. Появились две молодень кие подружки, похожие на деревенских ласточек. Они охотно с нами расщербетались. Ни им, ни нам никак не хо телось отсюда уходить – подставив лицо слепой и слабой ла ске солнца, сидеть и сидеть бы так на камнях, глядеть на тяжёлые глыбы, на плавноструйную речку и слушать воз никающий под ветерком шорох дубовой рощи.

Этот уголок привораживает, завораживает, преображает. Здесь, в прадавнем каменном лоне, становишься кротче, чище, мудрее. Слова, как слова, а за ними молчит иное. Молчание, как молчание, а говорит оно о чём-то несказанном. Сладко нам здесь и подолгу молчать, и неспешно беседовать.

Когда мы уходили, мой друг нежданно остановился: взгляни! Я поднял глаза: на тёмной грани треугольного валуна кто-то безымянный вывел белой краской большие детские буквы:

И ЗАЧЕМ ОТСЮДА УХОДИТЬ?

Прибрежные впечатления

Море с его бурными волнами и немолчным шумом являет собою вечные порывания тёмной безъязыкой энергии к одушевлённой жизни и сознанию.

В полуночной тьме море ощущается как невидимое и сказочно невиданное животное, необъятная спина которого влажно поблёскивает под слабым светом звёзд. Оно беспрестанно движется, но никогда не решается пересечь некую запретную границу. С грохочущим шумом выдыхает оно у берега пену бешенства.

Жутко думать, что это довременное существо может вырваться за черту берега и поглотить весь наш наземный мир, как некогда погребло под собой Атлантиду.

Отходишь от него, словно от клетки с рыкающими тиграми, ритмичные метания которых таят угрозу гибельного прыжка.

* * *

В чистой прибрежной воде старухи резво плещутся, нелепо подпрыгивают и вскрикивают от прикосновения волн. На их лицах – счастливые улыбки.

Море возвратило им детство.

* * *

Очень и очень многие люди, чаще всего молодые, и в лес, и на пляж приносят с собой транзисторные приёмники и магнитофоны. Они убегают от урбанистической цивилизации, но убегают на её же крепкой цепи.

* * *

Плывёшь в море – и ощущаешь своё тело скользким обтекаемым дельфином.

Подымешь взгляд в небо – и, забыв обо всем на свете, летишь чайкой среди чаек.

Лежишь на спине, прикрыв глаза, и море покачивает тебя, словно пробковый поплавок.

Найдётся ли среди живых существ такой же Протей, как человек? На сцене своего воображения этот жалкий актёршико способен сыграть роли всего живого.

И неживого тоже. Это и есть его последняя роль.

* * *

На берег выволокли пловца, пьяного в стельку. «Ты же мог утонуть, идиот!» Он лежал молча. Волны били в его податливое тело, двигая его туда-сюда. Когда же спасённого подняли на ноги и попытались вести, он, не открывая глаз, с чувством сказал: «Дайте же морем подышать!»

* * *

Если среднерусская природа трогает и очаровывает, то кавказская всегда неожиданно волнует.

Равнина являет собой прекращение творческой стихии в природе, успокоение, умиротворение, а горы дают зримый образ первых дней сотворения мира, зрелище творческой неуспокоенности природы.

На Кавказе всё велико, всё высоко. Сам горный пейзаж – это некое грандиозное событие, длящееся тысячелетия. Здесь нет места уютному быту, нет места пошлости и мелочности, этих проявлений внутренней закостенелости.

Великий Кавказ возвеличивает, высокий Кавказ возвышает.

Звонок перед вечной разлукой

Трижды я готовился хоронить тебя – и на третий раз похоронил. Ты несколько месяцев, почти полгода тяжело болел, а я был за многие сотни километров от тебя. Теперь я понимаю, насколько тревожны были недомолвки и намёки в маминых письмах. Но душа отказывалась принимать эти сигналы; я полусознательно обманывал себя пустейшими надеждами; предотвратить катастрофу было не в моих силах.

И вот позвонила мне твоя Смерть. На пустой плоскости стола телефон вдруг затрясся от звонков, словно настигнутый эпилепсией. Он разрывал себе грудь отчаянными, прерывистыми, нескончаемыми криками, пока я не схватил трубку. Слабый, переменчивый голос мамы сказал, что я должен быть готов ко всему. Я внутренне остолбенел, осознав ужас надвигающегося, но чувства ещё не пропитались тяжёлой водой этого ужаса, и я неприятно удивился своему бессердечию.

Так мне впервые позвонила твоя Смерть.

Прежде чем навек погрузить тебя в небытие, она долго туманила твоё сознание сладчайшей ласковостью. Мало-помалу, незаметно для тебя самого она приучила тебя лежать, лежать всё чаще и дольше. Она с материнской настоятельностью укладывала тебя в солнечный послеобеденный час на тёплую траву под августовской яблоней, и ты, повинувшись ей, закрывал глаза с блаженной улыбкой.

Ты, никуда не спеша, шёл по парку, и она мягко подталкивала тебя к скамье, и тебе уже не хотелось подниматься. На диване она заботливо подкладывала тебе подушки, и ты безмолвно лежал часами, доброжелательно поглядывая на домашнюю хлопотню. Казалось, на диване ты обрёл рай, недоступный для житейских невзгод. Мало-помалу ты стал совершенно неприхотлив и по-младенчески был доволен любой скучнейшей телепередачей, когда лежал на диване, глядя на экран, а Смерть тихо дышала на твои поредевшие седины, легкие, словно ковыль.

Всё чаще мне перехватывала горло нежность к тебе, и ты сам всё чаще обнимал меня. В этой ласке было уже столько потусторонности, что сердце щемило. В твоём неучастии в наших проблемах, в твоей нетвёрдой походке, в твоих добрых глазах я со страхом замечал ту же лёгкость, ту же кроткую отрешённость, которые видел я у дедушки в его последние месяцы. Понимал ли ты, что обнимая тебя с небывалой нежностью, я заклинал тебя остаться с нами?

Но Смерть манила, манила тебя, и ты удалялся от нас, словно зачарованный, и ничто и никто не мог этому помешать. Мама рассказала мне один случай, и жутью повеяло на меня от его символики. Мама усадила тебя на балконе, чтобы ты понежился под осенним солнцем, а сама на минуту отошла, чтобы принести тебе компоту. Когда она возвратилась, ты с нерешительной улыбкой сидел на оградке балкона, уже перекинув одну ногу и стараясь занести другую. У мамы потемнело в глазах, она бросилась на тебя молниеносней коршуна и в тот раз не дала тебе перешагнуть в небытие. А тебе показалось, что ты просто выходишь на улицу.

А ведь ещё года три тому назад ты жил с удовольствием, ты был полон силы, ты был опорой для всех нас. Я всегда восхищался мускулами твоих рук, незаурядной силой твоих пальцев. Уже когда ты лежал безнадёжным, врач попросила тебя пожать ей руку и удивилась крепости пожатия. Бывало, на вокзале, встречая или провожая гостей, ты отстраняя всех, нёс самые тяжёлые чемоданы, радуясь возможности удружить человеку. И вообще до чего же ты любил трудиться! Когда предстояло вскапывать клумбы или сажать деревья, у тебя поднималось настроение, ты оживлялся, ты увлекал других. Да, ты просто молодец, когда твоя лопата сладострастно вонзалась в землю. А как здорово ты чистил рыбу! Чешуя не поддавалась, рыба изгибалась в руках, пытаясь соскользнуть на пол. Но ты приговаривал что-то благожелательное и управлялся с рыбой ловко, как опытная няня с непослушным младенцем. Или, помню, осенью ты набивал картошкой огромные мешки под самую завязку, а затем удальским движе-

нием взваливал огромный груз себе на спину и богатырски грузно нёс в подвал. Да, настоящий кормилец семьи, заботливый и предусмотрительный! Наша опора, наша устойчивость, наша крепость!

Ты стал слабее и беспомощнее слепого котёнка. Смерти быстро надоело разыгрывать из себя ласковую мать, ей надоело шептать, утешать, убаюкивать. Осатанелой садисткой набросилась она на тебя. Твой рот она забила кляпом, и ты мог только невнятно пробормотать убогие просьбы пленника: «Поесть! Попить!» – глаза твои тотчас закрывались от усталости, и ты вновь лежал безучастно и неподвижно. Я приезжал дважды перед твоей гибелью, чтобы побыть с тобой, чтобы ты почувствовал – у тебя есть сын. И я видел всё то, чего не дай Бог видеть никому. В первый приезд я добрался домой к полуночи и, второпях сняв пальто, поспешил к твоей кровати, предвкушая твою радость, твою улыбку. Ты услышал, что кто-то вошёл, поднял голову и вдруг в твоих глазах нечеловечески страшно засверкала сатанинская ненависть, обращённая к стене перед твоим взглядом. Ты пробормотал что-то напряжённо злобное, яростное, поводил глазами, никого не узнавая, и вдруг ослабел, поник, горько вздохнул. От ужаса я не мог шевельнуться, но ты вновь открыл глаза и вместо сатанинского существа я вновь увидел тебя. Ты улыбнулся, мягкая радость засветилась в твоих светлых каре-зелёных глазах, осмысленных и ясных, и, сказав как бы с облегчением «Юрась! Приехал!», протянул мне руку. Затем тебя окутало забытие, а я гладил, растирал, целовал твою руку.

Тело твоё оставалось ещё живым, но перестало быть одушевлённым. Его приподнимали и передвигали, как тяжёлую тушу, лишённую и духа, и воли. Ты не мешал мне взять твою руку, и я с силой растирал её, стараясь пробудить в ней жизнь. Но я отпускал твою кисть – и рука медленно, как бы с робостью опускалась. Когда я растирал твою спину, мне было почему-то особенно печально видеть большую родинку, знакомую мне с детства. В ней чувствовалась что-то совершенно слабое и незащищённое.

Маме едва-едва хватало сил приподнимать тебя, чтобы поменять бельё. Я помогал ей, поддерживая твою спину, и тогда голова твоя клонилась, как тяжёлый увядший цветок. Ты сдерживал стоны, но глаза твои закрывались. Руки свисали, как надрубленные ветви. Беспомощная, вялая жалкая нагота, уже ничему не противящаяся! Вдруг меня пронизала боль прозрения: это же пьётá! Ведь почти два тысячелетия тому назад точно также поддерживали родные и близкие поникшее тело Христа. Вечный, полный боли символ последней истерзанности человека! И эта участь уготована каждому, каждому. Этого не избежать никому, никому. От непомерного ужаса хочется спрятаться, забиться куда-то в темноту, и ни о чём не думать, и ничего не чувствовать.

Когда поздно вечером 15 марта мама позвонила, что ты умер, умерло что-то и во мне. Я хотел, я искал темноты, я сам хотел исчезнуть. В тёмной комнате я забился в угол дивана, жена гладила меня, а я забывался в тихих слезах.

Я вылетел хоронить тебя в мутный мартовский день. Вечером в Харькове мне предстояла пересадка. Было сыро, холодно, чавкала под ногами жижа из грязи и снега. Потом троллейбус, как назло, обломившийся; наконец, автобус, плутовавший по Харькову, словно по громадному тёмному лабиринту, а дальше сонная тьма в автобусе и грязно-синие туманы в ночных полях.

Я один расположился на переднем сидении и наблюдал за водителями в слабо жёлтом полусвете приборов. Один держал руку на баранке руля и смачно курил, вглядываясь в туман, пронзённый яркими лучами фар. Второй развлекался, покручивая ручку радиоприёмника. Они житейски переговаривались; потом отдохавший развернул пакет, и запахло салом. Грубые, здоровые мужички! Насыщающаяся плоть без малейшей мысли о тлении и небытии! Эти чужие люди упивались жизнью, а ты, мой родной, мой папа... Я прижимался лбом к холодному стеклу и впивался зубами в губы, чтобы не дать воли слезам.

За окном клубились бездны мрака, бесконечные пространства, залитые тёмным туманом мартовской ночи. Автобус то гудел натужно, то сотрясался, то скрежетал, то взывал, одолева-

емый страхом перед бесконечностью. Я постепенно оцепеневал, жизнь замерзала во мне вместе с болью, становилось легче, как бывает, наверное, после ампутации под наркозом, и было приятно вместе с автобусом катиться куда-то вниз, куда-то проваливаться с замирающим сердцем, ожидая дна и не достигая дна.

А когда-то я заранее радостно волновался, предвкушая встречу, и мне хотелось плёткой подгонять неторопливее время. Я спешил в отчий дом, в дом, где меня ждут отец и мать. Несмотря на чемодан, я взлетал по лестнице на четвёртый этаж и стучал в дверь, чувствуя себя магом, который неким волшебным ритуалом претворяет обыденность в сказку. И правда, слышался торопливый топот босых ног, щёлкал замок и меня бросалась обнимать немного заспанная мама. А за нею уже стоял и ты, в потрёпанных брюках, в тёплом свитере. Голова твоя – в редкой ковыльной седине, большой нос мясист и мягок, на крупных губах дремлет улыбка, а выпцветшие зелёные глаза светятся родной приветливостью. «Здравствуй, Юрась!» – мы крепко обнимались, беспорядочно целуясь, и я чувствовал под своими руками твоё тело, полное и тёплое. «Ну, рассказывай!», – просил ты и сажал меня рядом с собой на диван, положив руку на моё плечо.

Гроб меня встретил. Открылась дверь – и меня сокрушительно ударило по глазам: в голой комнате у окна стоял на столе огромный гроб, красный, отделанный какими-то матово-серебряными украшениями. Банально отвратительный цвет смерти! О, как бы я хотел никогда, никогда этого не видеть! В гробу, по грудь закрытый белым покрывалом, лежал ты, мой папа, всегда обнимавший меня при встрече, добрый, любимый, живой! Теперь тебя обрядили в официально тёмный костюм; веки твои были намертво сомкнуты; ледяным и бесконечно чуждым было выражение ставшего демоническим лица. Это был ты, но не ты. Тому, который лежал в громоздком страшном гробу, было совершенно безразлично, абсолютно всё равно, кто к нему приехал и кого теперь сотрясают мучительно безысходные рыдания, неудержимые, как эпилепсия.

Ослабевший, заплаканный, я хотел найти для горя уединённый угол, но в остальных комнатах наткнулся на родственников, соседей, знакомых и нигде не мог найти себе места. Эта бесприютность, это горькое чувство внезапного сиротства вконец меня обессилели, и я уснул, не знаю, где и как.

Ярослав, твой внук, твой любимчик, переживал этот день на окраине города, у знакомых. Ему не было и семи лет, жизнь в нём играла, как весёлый котёнок, и ни за что не хотела знать, что существует на свете смерть. Когда я привёл Славочку (так ты его называл), он вбежал в омертвевшую комнату и с порога, подальше от гроба, выкрикнул «Прощай, дедя!» и опрометью бросился вон.

Когда несколько дюжих мужчин, когда-то твоих сотрудников, пришли выносить гроб, я спрятался в спальне, чтобы не видеть, как тебя, словно мумию, словно диван или кровать, перетаскивают с одной лестничной площадки на другую.

Когда я спустился во двор, вокруг гроба уже собралась молчаливая толпа. Грязное небо слезилось над тобой тихим редким дождиком; твой последний в жизни дом прощально наклонился над тобой; голосила, заходила в воплях родственница, тщетно взывая к тебе, уже не имеющему ничего общего с живыми. Окаменев, стояла мама. Я плакал, оглушённый, в тупом удивлении, что невозможное, нереальное всё же происходит.

Гроб поставили в крытую машину, в неё же, вокруг гроба, сели мы, твои родные и родственники, грянул оркестр – и тебя навеки увезли из твоего дома, из твоего двора, навсегда увезли из жизни.

На кладбище, у ямы, когда маму оторвали от тебя, я погладил твои волосы, неживые, холодные и мокрые, как жухлая осенняя трава, и поцеловал тебя, содрогнувшись от ледяного прикосновения. Безудержно полились слёзы, и красный гроб, и жёлтые трубы оркестра, и бледные лица людей расплылись и потекли медленно смутными пятнами.

Я бросил на гроб, уже опущенный в глубокую могилу, горсть сырой земли и словно умер сам.

Всегда помню слова, сказанные однажды тобой, уже пенсионером, что ни месяц теряющим силы. В то время я был безнадежно болен, я не был способен ни к работе, ни к чтению, я был не нужен никому на свете и в первую очередь – самому себе. Моя личность распалась у меня на глазах, я был беспредельно несчастен и хотел только одного – умереть, исчезнуть. И вот в одну из минут последнего моего отчаяния ты сказал: «Сынок! Ну, не можешь работать – не надо. Просто живи, мы прокормим тебя». Едва ли не каждый день я вспоминаю эти слова, и всякий раз потрясает мою душу беззаветность отцовской любви. У меня есть отличные друзья, но таких слов не скажет никто на свете, кроме двух людей – отца и матери.

«Сорок пять лет, которые мы прожили вместе с папой, промелькнули, как один день!» – написала мне мама. Куда же уходит наша жизнь? Я думаю, во что же превращаются наши заботы, впечатления, чувства – и вижу, что превращается вся наша жизнь в ничто. Где, в каком уголке вселенной, живёт наша любовь? Где, в каком городе обитает наша нежность, все наши чувства, мысли и впечатления?! Их нет нигде, нигде их нет, а это равно тому, что их и не было. Уничтожаются даже материальные следы нашей жизни, впрочем, ничего не значащие без живых людей. Человек умирает, мебель из его комнаты рано или поздно выбрасывают, появляются новые жильцы, которым и дела нет до того, кто здесь когда-то жил. Бумаги, уже никому не нужные, сжигаются, и даже кладбища сравниваются с землёй. Пусть мне скажут, что случилось с жизнью какого-нибудь египетского раба или вольного скифа? Где она, эта жизнь? Кто о ней помнит? Да что об этом говорить, если я сам ничего не знаю хотя бы о моих прадедушках. Так реальна ли наша жизнь? И вообще может ли быть реальным то, что подвергнуто изменениям, а затем исчезновению? Да, «жизнь есть сон».

Ты мне часто снишься, папа. А ещё чаще я вижу тебя словно наяву. Ты не спеша идёшь по Октябрьской улице, наслаждаясь тёплым днём и миром в душе. Ты в нелепо широких брюках и помятой летней шляпе. Я иду тебе навстречу, но ты ещё не видишь меня. А когда замечаешь, весь озаряешься удивительно доброй улыбкой: «Юрась, куда ты?» Господи, если бы ты знал, какую близость, какую бесконечную нежность я испытываю к тебе – испытываю и сейчас, когда пишу, мой родной, мой единственный во всём мире. Это чувство такое горячее и живое, и оно хочет, чтобы я обнял тебя, оно не находит себе выхода и приводит меня к тому месту на земле, где ты исчез навсегда. Там, на небольшом железном обелиске – твоё фото и выгравированные на стальной дощечке слова: «Михаил Фёдорович Денисов. 1906–1974». Мой отец.

Дворовый кот

Серый кот появился в нашем дворе лет пять тому назад. И тогда уже он не был молодым и забавным, и никто не захотел взять его к себе. Целыми днями кот бродяжил, а ночи проводил в сараях. Ваську – так его, не сговариваясь, назвали – Ваську кормили из жалости домохозяйки.

Моя мама тоже не питала симпатий к дворовому приживале, но угощала его щедрее всех, и он в ожидании подачи частенько приходил на наше крыльцо. В жаркие дни кот забирался под скамью, ложился на бок и дремал, наслаждаясь прохладой свежевывмытых досок пола. Но стоило мне сесть за столик обедать, как Васька уже похаживал вокруг моих ног, ласково их касаясь и оставляя на брюках шерстинки. Но, бывало, он не откликался ни на какие манящие запахи, ни на какие призывы. Тогда я сам извлекал его из-под скамьи и бросал ему кусок хлеба или рыбы. Странное дело, Васька даже не вздрагивал и только выжидательно смотрел на мои руки: от старости, наверное, он потерял нюх. Его беспомощность вызывала во мне и жалость, и раздражение. Я ногой пододвигал недотёпу к его еде, и тогда он садился, выгнув спину, и тихо ел.

Послеобеденные часы Васька любил проводить на солнцепеке около клумбы. Заметив кота, дворовые ребяташки подымали его и на задних лапах медленно и церемонно водили туда-сюда. В своей пепельнополосчатой шубке, покорный и равнодушный, он в эти минуты был похож на потрёпанного жизнью меланхолического джентльмена. Слишком уж кроткий, он явно не подходил для участия в детских играх, и озорники вскоре отпускали его с миром.

Васька уходил от них, лениво пробираясь между тёплыми от солнца стеблями табака и петунии. Тело бродяги в этих цветочных джунглях казалось меньше и невесомее.

Хищнический инстинкт в старом коте почти угас. Только однажды мне удалось увидеть, как играл Васька с пойманной мышью. Не сводя с неё глаз и вообразив, что полумёртвое существо пытается убежать, он сделал несколько игривых прыжков, оставив мышь позади себя. Заметив это, кот возвратился и сел перед своей жертвой. Горделиво изогнув шею, победитель безразлично поглядывал на мышь и лишь изредка мягко и презрительно дотрагивался до неё лапой.

Драк с другими котами Васька всячески избегал. И всё же, в первые весенние недели, когда снег становится мокрым и грязным, когда гнусно, сбиваясь на младенческий плач, воют коты, старый приживала ходил с ободранными ушами, с запекшейся кровью на голове. Кошки не гнушались им, и он где-то подолгу пропадал. Его худоба усугублялась до безобразия. Разлегшись на крыльце, кот не просил есть и только лизал и лизал мокрую шерсть. Когда я оставался над ним, он прекращал своё занятие и поднимал на меня глаза. Взгляд их был отчуждённый и безжизненный. Вскоре кот исчез так надолго, что все о нём попросту забыли.

Однажды в летний день я стоял на крыльце и от нечего делать наблюдал за крохотными белыми червячками, спускавшимися на невидимых нитях с ветвей яблони, стоявшей в нескольких шагах от дома. Внезапно большой серый котик с яростно изогнутым хвостом выскочил из цветочных зарослей и словно взлетел на дерево. Он улёгся на толстой ветке и стал сладострастно вонзять когти в её кору. «Эй!» – крикнул я. Зверь прервал свою усладу и взглянул на меня наглыми жёлтыми глазами. Затем с ловкостью пантеры он соскользнул по стволу на землю.

Я узнал Ваську, но какого-то непривычно иного, словно претерпевшего какое-то преобразование. Меня взволновало предчувствие тайны, и я сел на скамью обдумывать увиденное. Среди моих смутных мыслей мелькнула догадка, и я сразу ей поверил: я видел сына того жалкого бродяги, о котором никто уже не помнил. Я усмехнулся грустной простоте истины и долго не мог выйти из сладкого оцепенения, которое испытываешь порой, глядя на облака, разнообразные и всё же похожие, бесконечно сменяющие друг друга.

Чистая экзистенция

Элле

После смерти отца маме пришлось поменять нашу прежнюю квартиру на квартирёнку в серой блочной пятиэтажке. Радовало здесь только близкое соседство дома с уютной церковью, стоявшей под сенью роскошной липы.

В первый мой приезд к маме в её новое жилище (а было это не меньше трёх десятков лет тому назад) меня удивило одно довольно странное зрелище: три человека, взявшись за руки, с печальной степенностью ходили вокруг нашего дома – удручённая пожилая дама, удручённый пожилой мужчина, а между ними молодой человек среднего роста. Довольно правильное типичное лицо технаря было бы симпатичным, если бы не его болезненно отрешённое выражение.

Странно было видеть и то, что не он поддерживал родителей, а они водили сына, такого молодого и по-спортивному крепкого.

Я спросил у мамы, что это за люди. «Живут в нашем доме, в последнем подъезде, – ответила мама. – У них сын сошёл с ума». Он, один из лучших студентов строительного института, сдавал государственные экзамены, да так переусердствовал в подготовке, что его ум, не выдержав длительного перенапряжения, рухнул, как загнанный конь, да так и не поднялся. Пребывание в психбольнице ровным счётом ничего не дало, и по причине полной безобидности его тихого безумия парня вернули домой.

Через год я увидел, что бывшего студента выгуливает уже одна только несчастная, совсем поседевшая мать. А через два года и её не стало.

И с тех пор он ходил кругами совсем один – и на удивление энергично, словно спеша к желанной цели. Но эта никому не ведомая и не видимая цель всегда как бы удалялась и ускользала от него, и он спешил за ней по одному и тому же замкнутому маршруту: от нашего дома через соседний двор выходил на улицу, поворачивал налево и шёл по тротуару вдоль великолепных каштанов и лип. Дошагав до угла и не заходя в столь близкий церковный дворик, он поворачивал к нашему дому и дальше повторял свой закольцованный путь и второй раз, и третий, и уж Бог знает какой по счёту, вплоть до глубокой темноты.

Лишь изредка он сходил с дистанции, несколько минут стоял под торцовой стеной, склонив голову, и словно совещался о чём-то сам с собой. А потом возобновлял свою энергичную ходьбу. И так вот круг за кругом, круг за кругом, с утра до позднего вечера изо дня в день. Да что там изо дня в день! – из месяца в месяц, из года в год! И незаметно, незаметно уже из десятилетия в десятилетие. Стрёлки не всяких уличных часов ходят по кругу столь же бесперебойно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.